

СОДЕРЖАНИЕ

1. Детство и юношество. Красноуфимск, Красноярск (до 1917)	5
2. Студенческие годы. Томск, Москва (1917–1926)	28
3. Первые годы работы. Саратов, Москва (1926–1934)	55
4. Париж (1934–1937)	86
5. Арест, тюрьма, ссылка, лагерь. Уфа, Норильск (1938–1942).	112
6. Война! Красная Горка (1941–1944)	148
7. Дом Крутовских. Красноярск (1944–1947)	166
8. Освобождение, жизнь в Норильске, второй арест (1947–1952).	184
9. Новая ссылка. Енисейск (1951–1954)	198
10. Реабилитация, возвращение в Москву (1953–1960)	209
11. Жизнь в Москве. Последние годы (1960–1976)	221
Приложение. Л. Я. Гинцбург. Страничка из прошлого	238
Комментарии	243
Аннотированный указатель имен	252

1. ДЕТСТВО И ЮНОШЕСТВО

Красноуфимск, Красноярск (до 1917)

Мы с мужем потомственные российские интеллигенты. Как наши родители, так и мы, и наши дети не имеем прочного оседлого места, готовы были переехать из города в город, не говоря про переезды с квартиры на квартиру, в любое время. Темпы жизни такие, что послушать и поинтересоваться рассказами стариков о жизни наших родителей, не говоря уже о дедах, некогда было. Поэтому имеем об этом очень слабое представление. Да и жизнь неслась и несется так быстро, что оглядываться назад было неинтересно. Кроме того, понятие «семья» изменилось. Стариков уже не включают в «семью». «Бабушка живет с семьей сына или дочери». Часто еще и готовит себе поесть отдельно, живя на свою пенсию. И разговаривать-то с ней не интересно. Молодые уже с юных лет боятся, чтобы их не угнетали родители. Я своего отца обожала всю жизнь, а расстались мы с ним, когда мне было 18 лет. Кое-когда встречались, и все. Получается не человек с корнями, с семейными традициями, а перекасти-поле. Человек без корней. Дальше своего деда мы ничего не знаем. И о дедушке с бабушкой помним несколько фактов из их жизни, и все. Вот почему мне и хочется оставить детям небольшие воспоминания о наших «предках», чтобы знали, от кого они произошли. Сейчас модно писать о «рабочих династиях». Пусть будет наша «интеллигентская династия».

Начнем с семейства Гинцбург. Некоторые сведения есть только о дедушке Леониде Яковлевича — Льве Гинцбурге. Это был еврей из черты оседлости¹. Он сам был очень энергичный грамотный человек. Жена была беспомощная женщина, безграмотная. Родила много детей. Живыми остались 11 человек: шесть сыновей и пять дочерей. Чем он занимался и как кормил свою семью — неизвестно. Только однажды, когда уже возраст сыновей подходил к тому, что их надо было отдавать в солдаты (это были [18]90-е годы), он сказал: «Не отдам Николашке² своих сыновей». Сочинил сам какие-то бумаги, приложил сажей пятак орлом к бумаге вместо печати (такова легенда), взял пять человек младших

сыновей и уехал в Америку искать золото на Аляске. Там он то богател, то нищал. Наконец вернулся с двумя сыновьями обратно. Привез какие-то часы из «американского золота» и открыл в Саратове часовой магазин. Потом быстро прогорел. Сыновья Иосиф, Владимир и Леонид (Леонард) остались в Америке. Иосиф и Владимир были оперными певцами (Владимир был клептоман), Леонард вернулся в 1917 году «делать революцию» и уже в России кончил медицинский факультет. Уезжая в Америку, дед оставил бабушку и четырех маленьких детей на попечение старшего сына Якова и дочери Анны (тетя Ньюша). Яков учился в Дерпте (г. Юрьев). Там евреев принимали на медицинский факультет³. Они с Ньюшей давали уроки и должны были отдавать бабушке 50 копеек в день, чтобы прокормить всю семью. Нищета была отчаянной. Когда дед вернулся из Америки, стало немного легче. Яков Львович кончил сначала естественный факультет, а затем медицинский, живя на свои заработки. Ему предложили остаться при кафедре с условием, что он крестится. Он отказался, и начались его еврейские мытарства. Кроме того, у него была репутация «неблагонадежного». Еще студентом его выгоняли за какую-то революционную деятельность. Здесь я немного напутала, потому лучше сошлюсь на статью о нем из биобиблиографического словаря: «От предшественников декабристов до падения царизма» (Т. III. Выпуск 2. Москва, 1934)⁴. Из этой статьи видно, сколько раз его высылали, арестовывали и пр. Я к этому добавлю подробности его биографии, которые мне известны. Отказался он перейти в православие совсем не по религиозным причинам. Это был естествоиспытатель — абсолютный атеист. Отказался, не желая подчиняться какому бы то ни было насилию. В статье есть кое-какие ошибки или конец недописан.

Словом, в Красноярск семья Якова Львовича переехала из Саратова. Как он туда попал, не знаю. Когда в 1897 году он приехал в Красноярск и начал преподавать в акушерско-фельдшерской школе (это было единственное на всю Сибирь женское учебное заведение — специальное), он встретил там Ревекку Абрамовну Либерман. Это была молоденькая девушка, которая приехала на лошадях в отапливаемом возке с мешком мороженых пельменей и большим скарбом из Читы. Родители ее были купцы. В Чите она кончила гимназию. Была очень передовых взглядов. Три раза от руки переписала «Что делать?» (самиздат). Среди ссыльных многие знали «Ривочку Либерман». Она-то и поехала

учиться дальше в эту акушерско-фельдшерскую школу. Это было очень хорошо поставленное учебное заведение. Заведовал им Яков Львович, который обладал большим педагогическим талантом и был серьезным специалистом акушером-гинекологом.

Рассказывают, что у Якова Львовича была невеста по фамилии Смирнова, кажется, двоюродная сестра Ревекки Абрамовны. Она уехала в свой родной город (она тоже была слушательницей этой школы) за приданым. А тем временем Яков Львович женился на Ревекке Абрамовне, с которой он и прожил счастливо до глубокой старости. Ревекка Абрамовна пережила его на десять лет. Одновременно со школой Яков Львович работал еще тюремным врачом. Там была и его квартира. Свою тюремную больницу он превратил в некоторый пункт отдыха для политических, идущих этапом. Он шел в прибывший этап, отбирал ослабевших или тех, о ком ему давали знать, что нужно, чтобы человек отстал от этапа, так как есть надежда отправить его в более удобное место, устраивал женитьбы, передавал разные вещи. Один раз попался, когда передавал револьвер. Тут-то его выгнали из больницы, и он должен был уехать в 1903 году из Красноярска.

В тюрьме у них была квартира, где в 1901 году 1 апреля по старому стилю у них родился их второй ребенок — Леонид Яковлевич. После Красноярска Яков Львович работал в Тамбовской земской больнице, потом в Петербурге школьным врачом, потом в Саратове и в 1911 году переехал снова в Красноярск. Здесь он нашел благодатную почву для своих педагогических, организаторских и врачебных талантов. Он был необыкновенно организованным, трудолюбивым и общественным человеком. Он работал в той же акушерско-фельдшерской школе, что и раньше. О том, какой любовью и популярностью он пользовался среди учащихся, говорят письма фельдшерниц, акушерок, которые разъехались по всей Сибири и связь с которыми он не терял. Пачки этих писем лежат в столе до сих пор. По проекту Якова Львовича в Красноярске выстроен прекрасный родильный дом, которым он заведовал.

Ревекка Абрамовна работала фельдшерницей. Когда я ее знала, она уже ушла с работы. Каждый вечер, когда пили чай, родители делились между собой медицинскими новостями. Яков Львович, например, рассказывал, что за всю его многолетнюю акушерскую практику только одна женщина родила ребенка во сне. Она весной, когда лед на Енисее

уже двинулся, пешком перешла его, прыгая со льдины на льдину, и так измучилась, что не заметила, как родила.

Не надо думать, что Красноярск в то время (1911–1917) был захолустным мещанским городом. Там было две женские гимназии, в том числе частная — О.П. Ициксон, и казенная мужская гимназия, реальное училище, фельдшерская школа, земледельческое училище. Там были большие железнодорожные мастерские, Дом просвещения, театр, два больших собора, не считая церковей. Было еще епархиальное училище (для девушек). Все это были прекрасные здания. Была большая городская библиотека. Была огромная библиотека купца (кажется, золотопромышленника) Юдина — Юдинская библиотека, которая сейчас в Америке так и называется⁵. В свое время Юдин предложил эту библиотеку купить царскому правительству, которое отказалось, и он со зла продал ее американцам. Те охотно купили, так как слава об этой библиотеке дошла и до них. Продать ее Юдин должен был, чтобы сохранить, так как дом, в котором она помещалась, был деревянный. В этой библиотеке Ленин занимался, когда жил в Красноярске проездом в Шушенское в ссылку (ждал навигацию). Протекцию ему к Юдину составил В.М. Крутовский. Доктор Владимир Михайлович Крутовский был видным красноярским общественным деятелем типа народника. Он был прекрасный терапевт и вел большую общественную работу. Был создателем и директором прекрасного учебного заведения в Красноярске — фельдшерской школы. Вел большую общественную работу и пользовался большой популярностью в Красноярске. Это ему было поручено из центра (то есть политического центра) встречать В.И. Ленина, когда он ехал в ссылку. Когда Владимир Михайлович встречал Ленина на вокзале в Красноярске, он не знал его в лицо. Он увидел человека за столом, который что-то писал, как будто похожего по описанию. Владимир Михайлович подходил к нему то с той стороны, то с другой. Наконец, Ленин не выдержал: «Вы что, шпик?» — «Да нет, я доктор Крутовский». Так состоялась их встреча, которая потом перешла в дружбу. Пока Ленин был жив, он оберегал Крутовского. Крутовский умер в 1937 году в тюрьме по обвинению в отравлении Енисея. Кстати, Крутовский выхлопотал у губернатора переменить ссылку Ленина в Енисейск на ссылку в Минусинск (Шушенское)⁶. Крутовский же встречал Надежду Константиновну Крупскую и провожал ее в Минусинск к Владимиру Ильичу. Помню, как у Крутовских вспоминали

бешеные споры между Лениным и Крутовским на политические темы, что не мешало им относиться друг к другу с уважением и симпатией.

В Красноярске в то время было создано Крутовским же Общество врачей⁷, которое вело большую общественную работу. Была своя аптека и, кажется, родильный дом Общества врачей. И когда в 1911 году (или немного раньше) приехал в Красноярск Я.Л. Гинцбург, он сразу включился в общественную работу. Был заместителем председателя Общества врачей, преподавал в фельдшерской школе, построил новый родильный дом. В их квартире постоянно бывали разные политические ссыльные: Шлихтер, после революции нарком земледелия на Украине, его жена преподавала в частной гимназии О.П. Ициксон. В квартире доктора Я.Л. Гинцбурга всегда были люди. И проезжавшие через Красноярск, и ссыльные. Жизнь в их доме кипела. За столом всегда было много народа. Самый лучший друг доктор Крутовский заходил ежедневно — они с Яковом Львовичем обсуждали свои общественные дела. По-моему, они ни к какой партии не принадлежали. Ревекка Абрамовна была эсерка, но тоже формально ни к какой партии не принадлежала. Постоянными гостями были ссыльные: Колосов — эсер, Шлихтер — большевик, Чернов, словом, много всякого народа, но не чиновного.

Когда Гинцбурги еще в 1911 году приехали в Красноярск, своего сына Леонида они не могли устроить в мужскую гимназию, так как еврейская процентная норма была заполнена. На счастье, у Якова Львовича его сокурсник по Дерпту работал в канцелярии иркутского генерал-губернатора, и он получил разрешение взять Леонида сверх нормы в гимназию. Это было неопишное торжество в семье. Из гимназических воспоминаний самых младших классов еще в Саратове у Леонида Яковлевича были два.

Однажды, чуть ли не в первый раз восьми лет от роду надев новую форму и новый ранец, он отправился в школу. Дома во дворе он носился всегда с непокрытой головой и теперь забыл надеть фуражку, которая была частью формы. Он входит в школу сияющий и вдруг слышит голос классного наставника: «А где же головной убор?» Смущению не было конца. Пришлось бежать домой, опоздать на урок, и даже в 70 лет вспоминалось с волнением.

Второе «позорное» воспоминание. Леня получил двойку, учительница поставила ее в дневнике и сказала, что родители должны

расписаться. Что такое «расписаться», он не знал. Показать двойку было стыдно, и он написал своими каракулями: «Она читала». На следующий день учительница вызвала его и спросила, расписались ли родители. Он сказал: «Да» — и подал дневник. Учительница посмотрела дневник, потом на сконфуженную униженную фигурку и сказала: «Садись!» Ему было 70 лет, и он с благодарностью вспоминал эту учительницу.

В Красноярске в третьем, четвертом и пятом классах учился всегда на пятерки. Увлечением был футбол. У нас есть большая карточка, где снята команда футболистов, среди гимназистов-верзил слева стоит маленького роста (он в старших классах вытянулся) с длинным носом «хавбек»⁸ или что-то в этом роде с мячом в руках. В старших классах — всегда пятерки. Увлечение — латынь. Он даже преподавал в частной гимназии в старших классах латынь. Всегда тянул отстающих товарищей. Энергия была неиссякаемая. Ходил в слободу за железнодорожной линией в Николаевку и там давал уроки каким-то ребятам. До сих пор еще жив в Красноярске В. Патрикеев, который никак не может забыть, с каким терпением из класса в класс его перетягивал Л. Гинцбург. Много времени отнимали занятия музыкой. Ему прочили музыкальную будущность. Невероятно много читал. Были кружки гимназистов и гимназисток, где занимались политэкономией. Трудоспособность была семейным свойством. Недаром два сына стали профессорами, а дочь — кандидатом медицинских наук.

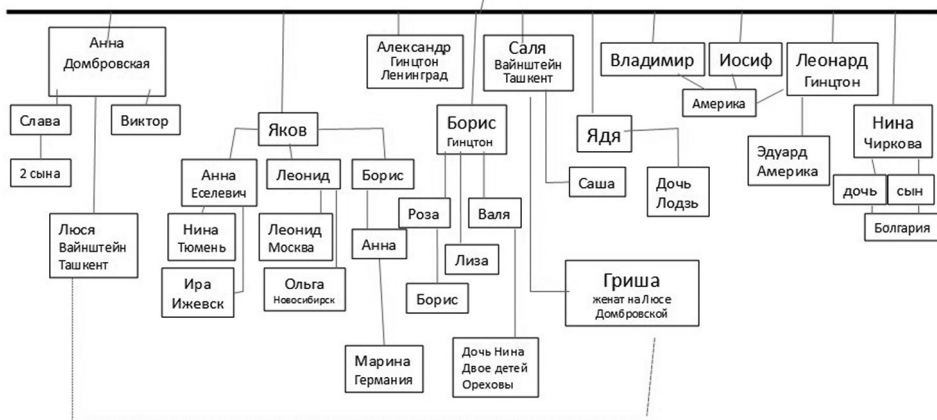
Отец Яков Львович, врач, имел большую частную практику, для чего держали кучера и двух лошадей. Общество врачей, родильный дом, прием больных у себя дома и еще посещение больных на дому. Освобождался отец только поздно вечером. Когда кучер не мог почему-либо ехать, с отцом на бричке ехал старший сын Леонид — он успевал и это. Жена Якова Львовича Ревекка Абрамовна работала фельдшерницей-акушеркой в родильном доме. Была кухарка. Словом, была обеспеченная, наполненная трудами, интересная спокойная жизнь интеллигентной семьи. Так жили до революции.

Я попыталась изобразить схему наших родственников по линии Якова Львовича.

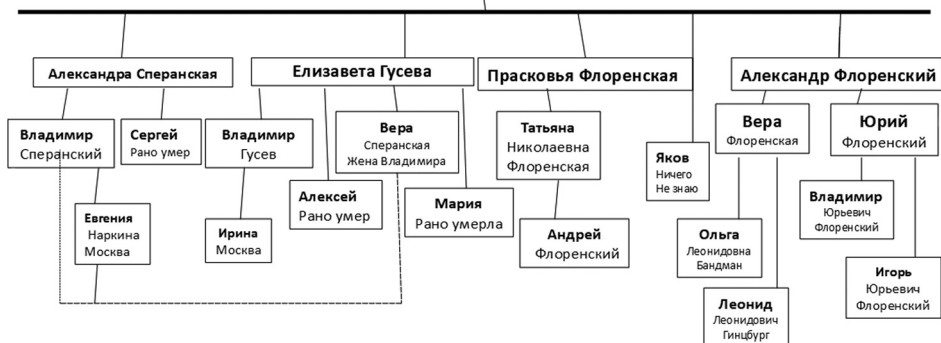
Так как дальше моя и Ленина жизни переплелись, то я расскажу, что знаю о семье Флоренских.

Дед мой по отцу Александру Яковлевичу Флоренскому, Яков Флоренский, был священником в селе Макарьевском Ветлужского уезда

Лев и Аншелес Гинцбург



Яков Александрович Флоренский (священник)



Костромской губернии. Говорят, что и отец деда был дьякон. Словом, потомственные «колокольные дворяне». Фамилию они получили при выходе из семинарии какого-то из предков, который, не имея еще фамилии, наверное, был выходец из крестьян⁹. Говорят, что он был такой здоровый и красивый, что его нарекли Флоренским от латинского слова «florens» — «цветущий». К нашему отцу оно вполне подходило. Он был большой, сильный, по-русски красивый с умными добрыми большими серыми глазами. Сначала о дедушке. Я его никогда не видела и бабушку тоже. Но почувствовала родственную связь при следующих обстоятельствах. Когда мне было 14 или 15 лет, отправил отец из Красноярска нас с братом Юрием на лето к своей сестре Елизавете

Яковлевне в их поместье Отраду под Ветлугой и просил, чтобы нас свозили в Макарьевское. Он сказал, что мы должны посмотреть свою родину, хотя мы оба с братом родились в Сибири и сам отец прожил две трети своей жизни в Сибири и был страстным сибиряком. В Макарьевском мы были только один день, но оно мне запало в душу на всю жизнь. И когда я говорю «родина», я думаю о Макарьевском, а не о тех квартирах, которые мы меняли, — в Красноуфимске, Каинске¹⁰, Бийске, Верном¹¹, Саратове, Москве, Париже, Уфе и др.

Макарьевское тогда уже было большим селом на высоком обрывистом берегу реки Ветлуги, окруженным сосновым лесом. Вечером того дня мы с Марусей, моей двоюродной сестрой, дочерью Елизаветы Яковлевны (она была старше меня лет на десять), пошли на берег. Берег обрывался отвесно в реку. Река текла широко и удивительно для меня (я могла ее сравнивать только с Енисеем) спокойно. В небе была полная луна, от которой с противоположного берега на наш стелилась широкая серебряная дорога. Через эту серебряную полосу плыла лодочка. На ней ехали двое парней и пели протяжную песню. Мы долго сидели на берегу, не в силах уйти. И даже теперь, когда говорят о русской природе, я не вспоминаю ни берез, ни Волги, ни Енисея, а вспоминается мне эта тихая река Ветлуга, и обрыв над ней, и сосновый бор рядом.

Дом был большой по деревенским масштабам. По широкому выскому крыльцу поднимались в большие сени. Направо дверь вела в «чистую половину», налево — в кухню. Дом был сложен (он, наверное, и сейчас стоит, хотя прошло с тех пор более 60 лет) из бревен толщиной в аршин¹². Столы все были из досок толстых и не менее аршина шириной. Когда я одна вошла на «чистую половину», я остановилась, потрясенная прекрасной картиной (простительно, мне было 14 лет). Потолок, стены, пол, большой стол, лавки по стенам — все было выскоблено, все сияло чистотой, не было ни одной тряпочки, вообще никаких вещей, что бы говорило о присутствии людей (здесь много лет после смерти дедушки никто не жил). По стене шли три окна, небольших, затененных разросшейся вишней. Было сумрачно. На столе стояла ваза с налитым свежим медом. Сквозь одно окно сквозь вишни пробивался тонкий луч солнца, который падал прямо в чашу медом. Аромат старого чистого дерева и меда делал это зрелище еще прекраснее. Все это было таким русским! И да простят мне мои 14 лет, но я восприняла это все по меньшей мере как «чашу святого Грааля»¹³. Кроме

комнаты с чашей было еще две комнаты. Все это разделено перегородками. Одна — небольшая спальня с большой двуспальной кроватью, тоже деревянной. Вторая — еще поменьше сразу у входа — «кабинет»: одно окно, письменный столик, стена, увешанная пучками лекарственных трав. Икон не было. Такой дедушка был священник. Одна картина: из кучи сваленных крестов человек выбрал себе крест и, согнувшись, его несет. Говорили люди, что, когда к нему приходили жаловаться на жизнь, он показывал на эту картину и рассказывал такую легенду... Один бедный человек уснул, и приснилось ему, что приходит он к Богу и говорит, что несправедливо тяжелый крест взвалил на него Бог, и он просит облегчить его существование. Тогда Бог сказал ему: «Иди и выбери сам себе крест, какой тебе понравится». Пошел человек выбирать крест. Возьмет один — непосилен, хотя и красив, другой — маленький, стыдно с ним показаться Богу. Наконец, нашел крест, который хотя и тяжел был, но как-то пришелся по нему. Пришел он к Богу и говорит: «Вот, нашел!» Бог велит ему прочесть сзади на кресте надпись. А там написано имя того человека. «Значит, не ропщите».

Посидела я на этой половине, посмотрела на все и точно душой прикоснулась к жизни ушедших людей. Бабушка умерла молодой, хотя оставила не меньше пяти детей. Трех дочерей я знала. Старшая, Александра Яковлевна Сперанская, была замужем за священником, в Ветлуге прожила всю жизнь. У нее было два сына: Владимир и Сергей Сперанские. Сергей умер в тюрьме, был белым офицером. Владимир умер недавно, оставил дочь Евгению Владимировну Наркину. Он был женат на своей двоюродной сестре — Вере Николаевне Гусевой, дочери Елизаветы Яковлевны Гусевой. Елизавета Яковлевна, жена Николая Васильевича Гусева, имела четырех детей — Веру, Марию, Владимира и Алексея. Алексей умер от туберкулеза, который получил в тюрьме. Владимир умер тоже нестарым от туберкулеза. От него осталась дочь Гусева Ирина, у которой есть дочь. Обе живут сейчас в Москве. Ирина, кажется, химик даже со степенью. Третья дочь, Прасковья Яковлевна Флоренская, после смерти бабушки в Макарьевском переехала жить в Ветлугу к сестре Елизавете Яковлевне Гусевой, муж которой соблазнил младшую сестру и, когда она дожидалась ребенка, отправил ее за границу. Вернулась она через два года с девочкой, якобы дочерью умершей подруги. Это и была Татьяна Николаевна Флоренская. После возвращения Прасковьи Яковлевны Николай Васильевич Гусев жил с ней

в Москве почти открыто. Прасковья Яковлевна была любимой сестрой Александра Яковлевича и нашей с Леной любимой теткой. Леня считал ее святой женщиной. И еще у деда был сын Яков, то ли крестник, то ли еще кто, только о нем ничего не слышали, кроме того, что он был алкоголик и имел большую семью где-то под Ветлугой.

Последний сын Александр, дома его звали Сана, был самый способный и самый любимый младший ребенок в семье. Мать свою он плохо помнил, его воспитывала нянька, которая вела все хозяйство дома и была им вместо матери. Эту няньку я видела тогда же в Макарьевском, когда вошла на левую половину дома. Это была типичная русская изба. Большая комната. Слева несколько окон, по стенам широкие лавки из обычной плахи¹⁴, около лавок большой длинный деревянный строганный стол, полати¹⁵, огромная русская печь. Никаких ни занавесок, ни салфеток. Чистота и запах дерева. В углу сидела старенькая сухонькая старушка — нянька. Я ей отдала отцовские подарки — платок шерстяной и еще какие-то вещи. Она заплакала: «Как-то мой Санушка поживает?» Хозяйства уже не было никакого. За ней ухаживала какая-то женщина, а деньги посылал отец. Нянька открыла сундук и дала мне померить бабушкино подвенечное платье, тяжелое на подкладке на сиреневой, светлое с бантиком и шлейфом, хлопчатобумажное. Я померила, оно мне было впору — бабушка была, видно, такая же тонюсенькая, как я в 14 лет. Нянька сказала: «Возьми, тебе пригодится!» Из глубины прошлого все выплывает так ясно. И так печально. Забыла написать, что дед был, по существу, крестьянином, так как обрабатывал землю, сеял хлеб. У Якова Александровича (священника) был брат Григорий Александрович Флоренский — пчеловод. Его внучка Ключева Калерия Алексеевна живет в Ленинграде, у них две дочери. Еще два сына Якова Александровича Флоренского, Иван и Павел, оба умерли рано. Павел умер в Сибири, кажется, в Енисейске. Оставил ли детей — не знаю. Иван не был женат. Ни один из сыновей не стал священником.

Теперь о моем отце. Вырос он вот в этом доме в селе Макарьевское. Отец ему прочил «блестящую будущность» священника. Когда он кончил школу в Макарьевском или в Ветлуге, не знаю, его дед послал в Кострому в семинарию. Через несколько месяцев послушный сын вернулся домой и твердо заявил отцу, что не хочет быть священником и просит разрешить ему учиться на агронома. Предание не говорит, были ли дома споры, только дело кончилось тем, что отец уехал

в Красноуфимск в агрономическое училище. Там он познакомился с Платонидой Ивановной Шевелиной. Лучшим другом его был Гончаров, усыновленный то ли писателем, то ли его братом¹⁶ незаконный сын¹⁷.

Мой прадед, Артемий Шевелин, был крепостным каких-то заводчиков на Урале. Он имел положение «крепостного на выезде», который работал где-то независимо от своего хозяина, но платил ему какую-то сумму. Человек, видимо, был предприимчивый — разбогател, выкупил себя и свою семью от помещика за несколько лет до освобождения крестьян. Его мать была калмычка. У Артемия Шевелина было два сына (об остальных детях не знаю — были ли): Иван Артемьевич — мой дед, и Константин Артемьевич. Жили они в г. Красноуфимске. Там была семья Горбуновых, у которых было две дочери: Наталья Михайловна и Елизавета Михайловна. Оба брата влюбились в этих сестер. Раньше такой брак был невозможен: как только один брат женился бы на одной из сестер, они становились свойственниками, между которыми брак был запрещен. Поэтому братья схитрили: в один день и час они обвенчались в разных деревнях. Иван Артемьевич имел стекольный завод, а Константин Артемьевич — золотой прииск под Красноуфимском. Происхождение этой их собственности я не знаю. От отца ли им досталась или приданое за женами получили — не знаю. Жили все в достатке, не больше, роскоши никакой не было. Старались учить детей в вузах. Обе семьи жили очень дружно, не только родители, но и дети. У Ивана Артемьевича и Натальи Михайловны, моих бабушки и дедушки, был один сын и пять дочерей, и у Константина Артемьевича с Елизаветой Михайловной — тоже. У обоих сыновья были старшие, остальные дочери. Все были одного возраста. Сыновья одного возраста, дальше дочери, первые одного возраста, вторые — одного и т. д.

Помню, в Красноуфимске я жила до 11 лет. Каждое воскресенье собирались то в одном доме, то в другом. Старики играли в винт¹⁸, а молодежь, если это были студенческие каникулы, съезжалась из Питера домой, приезжали не одни, а привозили разных приятелей в гости. Спорили до упаду на политические темы. В комнате у младших сестер висел портрет Веры Засулич, хотя они сами считали себя социал-демократками¹⁹. Пели песни «Вечерний звон», «Вихри враждебные», но и «Коробушку» тоже²⁰. В городе у обоих братьев были каменные дома. Дом деда моего Ивана Артемьевича стоял на углу улицы. Он был двухэтажный,

солидный, кирпичный. Угол по той моде был срезан, на этом углу был балкон, чугунный, фасонного литья. Подпирался он черными чугунными фасонными столбиками. Я помню, как одна девочка подбила меня зимой лизнуть этот столбик, и я на нем оставила кусочек моего языка. Вверху был кабинет деда, большой зал с зеркалами, с чучелами волка и медведя (сейчас в этом доме музей, и медведь стоит у входа), с резными фигурками лошадей и всадников уральского литья. Паркет, ковер около дивана с креслами, столик, который был украшен сухими цветами, залитыми лаком, — бабушкино изделие, громадный рояль, который оживал, когда приезжали тетки на каникулы. Была парадная лестница, которая вела в парадный ход. Под лестницей была комната со сводчатым потолком — «швейцарская». Там никто не жил, а стояли сундуки с разными старыми вещами. Для меня эта комната была полным таинством. Когда туда уходили за чем-нибудь, я обязательно тоже бежала туда. Там открывались сундуки и вынимались какие-то старые платья, кружева, все казалось сказочным. Лестница была мраморная, у входа стоял медведь с блюдом для визитных карточек. Зал открывался по воскресеньям, когда бывали гости, на Рождество, когда была елка, ну и в каникулы. Вверху кроме зала были жилые комнаты. Их было пять. Был темный «буфет» — комната, где стояли бутылки в два или три ведра с «мадерой» собственного изготовления из лесной земляники, разные варенья, сахар «головами»²¹, машинка для колки сахара и пр. Большая столовая с печкой, которую дедушка топил сам по вечерам.

Против печки стояла кушетка, и я всегда смотрела, как печка топится. Была комната для детей, детская маленькая комната, которая постоянно промерзала, под кроватью часто был «куржок» (изморозь). Была черная деревянная лестница в нижний этаж. Этот этаж строился как торговое помещение для торговли стеклянной посудой. Зал большой с выходом на улицу. Выход был всегда заперт, так как магазин так и не открыли. Эти комнаты почти всегда пустовали. После стирки там гладили. Мебели не было никакой. Мы с Юрием-братом там играли. Была большая кухня с печкой, плитой, с медными кастрюлями по стенкам, с большим столом, за которым обедали (питались) все служившие у деда: кучер, горничная, кухарка, нянька. Был двор, покрытый каменными плитами, на нем всегда лежали бочки с сульфитом (какая-то составляющая часть стекла²²). Бегать по этим бочкам было большое удовольствие. Были конюшни для выездных лошадей и сарай

для жителей над ним, квартира для кучера. На заднем дворе была баня. Дальше стоял одноэтажный, тоже каменный дом для сына Александра, который жил там со своей женой Евгенией.

В доме день начинался так. Часов в восемь просыпались мы с братом Юрием. В кухне вставали в это же время. Нам давали молоко с куском булки, которое с вечера стояло на столе. В десять часов вставали дедушка и бабушка. Был чай обязательно с оладьями и еще не помню с чем. Оладьи были маленькие кругленькие поджаристые. В воскресенье подавали купленные на базаре (воскресенье — базарный день) крендели, которые бабушка по одному клала на самоварную трубу, мы терпеливо ждали, когда поджарятся эти крендели. После завтрака дедушка занимался своими делами, бабушка вязала оренбургские платки. Мы были всегда предоставлены самим себе. В школу я ходила когда хотела, и то утром у меня спрашивали: «Лошадь заложить?» Школа была в десяти минутах хода. Я чаще всего говорила: «Заложить!» — и важно ехала в коляске. Учиться было легко. Книжек не было. Зато была масса дорогих игрушек. Я помню, мне подарили большую куклу с закрывающимися глазами, говорившую «папа» и «мама». Нас с Юрием разобрало любопытство, почему она говорит. Мы ее разобрали до основания. Потом устроили в старом «шкапу» в коридоре торжественные похороны. Словом, воспитанием нашим никто не занимался. Одеты были тоже кое-как. Когда приезжали тетки на каникулы, тут они начинали нас воспитывать, обшивать и т. д. Книг в доме было мало, были журналы: «Нива», «Русское богатство»²³, газеты. Помню у теток Вейнингера «Пол и характер»²⁴, потому что долго думала, какое отношение имеет пол, по которому ходят, к характеру. Читала я что попало. Однажды тетки обнаружили, что я читаю книгу «Старые девы»²⁵, которую взяли у соседей. В четыре часа был обед, всегда длинный, тяжелый, пельмени, сычуг — это прямые коровьи кишки, начиненные гречневой кашей с почками, — очень вкусно. После обеда дедушка садился за пасьянс в столовой, в доме наступала тишина, нас отправляли вниз. Там мы сидели, переводили картинки и грызли орешки. Дедушка сидел за большим столовым столом. С одной стороны стояло блюдечко с керосином, по другую сторону — стаканчик с «мадерой». В керосин дедушка верил, как в лекарство от всех болезней. У него на плешинке была жировая шишечка. Все время, что он раскладывал пасьянс, он массировал шишечку керосином и попивал понемногу «мадеру». В семь часов был

чай, в двенадцать часов ночи был ужин, к которому в кухне готовились как к обеду. Опять были и пельмени, и жареные гуси и пр. Потом сразу ложились спать!

В посты ели постную пищу, в масленицу — блины. Я, помню, отказывалась пить молоко в пост, и бабушка меня убедила, что от черной коровы молоко постное. В Великий пост говели и исповедовались. Остальное время в церковь не ходили. Бабушка спускалась вниз два раза в неделю, в баню и в гости к другим Шевелиным через неделю. Выезжали весной на завод на дачу и зимой на ярмарку в Екатеринбург (Свердловск). Там дедушка заключал на весь год сделки на продажу стекла. Стекло было зеленоватое, дешевое, но местное население его предпочитало, так как, например, стаканы были очень крепкими. У нас с Юрием не было знакомых ребят. Мы росли одни. В школе у меня была подружка Сарра Куколева, дочь часовщика. Один раз только я была у нее и потом завидовала всю жизнь. Они жили, по сравнению с нами, бедно. Но она всегда была аккуратно одета. Видно было, что о ней заботятся. У нее были и картинки, и альбом, словом, все, что в то время имели девочки в школе. Меня баловали: пойдет дядя в магазин, купит двадцать одинаковых картинок, какой попало альбом — я чувствовала, что нет у меня материнской заботы. Дикарями росли. Один раз в год приезжал отец, тогда отпусков не было. Он иногда урывал несколько дней, чтобы повидать нас. Он работал в Сибири. Наша мать была в сумасшедшем доме. Наши тетки все считали себя большевичками, к отцу относились очень сдержанно, хотя он-то и ходил в ссыльных, а они не пострадали. Все пять сестер были крайне левых настроений, портрет Веры Засулич висел в их комнате, хотя они не были террористками. Однажды моя мать, молоденькая еще, увидела в окно хвост какой-то демонстрации и бросилась на улицу. Присоединилась к демонстрации и только тогда разобрала, что это монархическая демонстрация с портретом царя и с песней «Боже, царя храни!». Насколько я понимаю, революционность их была эмоционального характера. Дед с дочерьми не спорил — звал их «сосал-мокротками». С одной из этих сестер Платонидой Ивановной и познакомился Александр Яковлевич Флоренский, от которых мы с Юрием и произошли.

Напишу еще о детях Ивана Артемьевича Шевелина, моего деда: сын и пять дочерей. Сын Александр, дядя Саша, имел среднее образование, должен был заниматься заводом, поскольку он был наследником.

Помню, что отец его всегда нещадно ругал за пьянство и легкомыслие. Однажды он ему поручил приготовить для выставки на ярмарке в Екатеринбурге (или в Саранске — не помню) изделия завода. Саша занялся энергично этим делом и представил на обсуждение и утверждение образцы изделий завода: больше десятка урильников (ночные горшки) разного цвета, от аршина в диаметре до размера наперстка. Была гроза! Саша по-своему занимался «революционной» деятельностью. Высылали каких-то людей в ссылку из Красноуфимска, Саша нанял сколько-то троек лошадей с коврами и оркестром и проводил их до железной дороги. За это месяц отсидел в «каталажке»²⁶. А другой раз был какой-то спектакль приезжих артистов, где был весь городской высший свет. У Саши был кучер, красивый парень с шикарными усами. Саша причесал его в парикмахерской по последней моде, нафабрил усы, надел шубу с бобровым воротником, дал билет в первый ряд и велел курить дорогую сигару. Тот не растерялся и свою роль сыграл на славу. Что было с дамами и девушками! Вокруг него ходили толпой. Пересудов в городе было много: «Кто такой?» Саша, насладившись всем этим, рассказал о своей шутке. Общество было оскорблено, приняв, как это и было, за насмешку. Саша был очень добрый, нас очень любил. Был кутила. Детей у него не было. Они с женой взяли мальчика, усыновили. Говорят, это был незаконный сын Саши. Он сейчас жив — Владимир Александрович Шевелин живет в Красноуфимске. Саша умер в Красноярске, когда отступал с белыми.

Старшая из дочерей Платонида Ивановна, по словам сестер, была очень заботливая, всегда возилась с младшими сестрами, читала им, занималась с ними. В то же время была франтиха и страстная танцовка. Она славилась лезгинкой, которую танцевала с князем Челокаевым, студентом сельскохозяйственного училища. В чем выражалась ее «революционная деятельность» — не знаю. Сама себя она считала социал-демократкой и была связана с подпольными организациями. В Красноуфимске у нее было два поклонника: Гончаров и Флоренский, два друга. Когда Гончаров сказал своему другу, что хочет жениться на Платониде Ивановне, Флоренский отступил в тень из дружеских чувств. Гончаров сделал предложение и получил согласие. Через несколько дней получил отказ, и так два раза. На третий раз Гончаров сказал, что кончит жизнь самоубийством, и, видимо, уже был болен. Была сыграна пышная свадьба. На другой день после свадьбы Гончаров слег и больше

уже не встал, у него была скоротечная чахотка. Платонида Ивановна уехала в Цюрих учиться. То ли они боялись из-за ее деятельности, то ли из-за смерти Гончарова. Летом она приезжала, чтобы работать по борьбе с голодом, я не знаю, какой это был год. У нас была фотография, где она с деревенскими ребятами, школьниками, и со священником сидят перед школой. К зиме снова уехала в Цюрих. На каком факультете она училась — не знаю, как будто на естественном. Ей было в это время 21–22 года. Александр Яковлевич Флоренский работал в Сибири в городе Каинске Томской губернии, то ли будучи в ссылке, то ли уже освободившись, он написал в Цюрих, когда прошел траур по Гончарову: «Не хотите ли сменить Швейцарию на Каинск?» Платонида Ивановна, не раздумывая, бросила все, и бабушка привезла ее на лошадях с приданым. Бабушка сдала дочку Александру Яковлевичу и уехала. Началась их сибирская жизнь. Отец часто ездил в командировки. Мама занималась фотографией. Скоро родилась я, потом уже в Бийске — Юрий. Там на другой день после родов началось землетрясение. Папа был в командировке. Мама схватила обоих и, больная, выскочила на улицу. Начались ее болезни. Сначала обмороки. Потом душевная болезнь. Ее лечили в Петербурге. Мы с Юрием и попали тогда к бабушке с дедушкой. Мама несколько раз возвращалась домой. А потом уже ее окончательно поместили в частную клинику для душевнобольных в Перми. Она никого не узнавала, помнила, что у нее есть дочка Верочка и помнила еще Колю — человека, с которым танцевала лезгинку. Она жила в этой лечебнице до революции, а когда и как умерла, мы не знаем, так как между нами был колчаковский фронт²⁷. Так печально кончила жизнь эта светлая душа — моя мать. Говорили, что она была настоящая красавица.

Вторая дочь, Лидия Ивановна, была необычайно добрая; была тоже большевичка. Вышла замуж за Чиликина Доментиана Николаевича. Он был совершенно не приспособленный к жизни человек — старовер. Был прапорщиком, потом ушел в отставку и стал счетоводом. Зато их дочь, Наталья Доментиановна Чиликина, живет в Свердловске, инженер, ездит по командировкам, хотя ей более шестидесяти пяти лет. Замужем за начальником какого-то отдела. Сын у нее Дима какой-то ученый в Свердловске.

Третья дочь, Вера, училась в Петербурге в каком-то высшем учебном заведении. Не кончила, сошлась с писателем Бибиком, он был на

нелегальном положении²⁸. Потом его арестовали, а она была долгое время психически ненормальная. Замуж больше не вышла. Умерла в железнодорожной катастрофе.

Четвертая сестра, Надежда Ивановна, училась в Питере, занималась революцией. Вышла замуж за восемнадцатилетнего бездомного паренька, который потом стал академиком Трахтенбергом. Вместе они прожили 60 лет, умерли в один год. У них осталась дочь Марианна Иосифовна Трахтенберг, замужем за Р.И. Вильнером, живет в Москве, работает в Президиуме Академии наук. Надежда Ивановна после революции работала с Крупской по беспризорности. Оба они потом вышли из партии и умерли беспартийными.

Пятая сестра, Наталья Ивановна, тоже училась в Питере, тоже не окончила вуза, так как вышла замуж за инженера Семенихина, жила в Свердловске, детей не имела, была беспартийная.

Все сестры были красивы. Особенно Платонида и Надежда. Уже при советской власти в какой-то свердловской газете была помещена статья «Сестры» (или «Пять сестер», что-то в этом роде), где описывалась деятельность сестер Шевелиных. Ни одна из сестер не занималась предпринимательством, как их отец. Все были интеллигентными. Среди этих хороших добрых людей мы росли любимыми беспризорными детьми. Отец видел, что дальше оставлять детей в таком блаженном безделье нельзя. Он женился на женщине, которая любила его еще до женитьбы на моей матери. Она кончила Бестужевские курсы, была учительницей в младших классах. Женщина неумная и недобрая. Нас с Юрием она сразу невзлюбила из ревности к нашей матери, и ее подруги оправдывали ее. Вот с ней-то и пришлось нам жить. Нам было очень плохо. Здесь мы тоже были по сути беспризорными. Правда, нас никуда не пускали, и лет до семнадцати я нигде не бывала: школа, уроки, чтение, и все. Даже в театре мы были всего несколько раз за всю школу. Это было в Красноярске. Туда нас увез отец, как только женился.

Красноярск был по тем временам совсем не захолустье. Это был губернский город. Был губернатор. Были две женские и одна мужская гимназии, учительская семинария, епархиальное училище, реальное училище. Был Дом учителя. Было Общество врачей. Было много ссыльной интеллигенции. Были большие мастерские. Было много купцов, купеческих контор, золотопромышленников, речников. Красноярск резко делился на три части: Центральную, Николаевскую слободу —

Николаевку, и Качинскую слободу. В Центральной части жили купечество, администрация, интеллигенция. В Николаевке в основном жили рабочие железнодорожных мастерских. Она и располагалась за вокзалом. Там же жили и многие ссыльные. Качинская слобода была за речкой Качей, притоком Енисея. Это была обывательская часть города, там жили всякие ремесленники, мелкие торговцы. Но хулиганы тоже были оттуда. «Качинец» было ругательством в Красноярске.

Мы жили в Центральной части. За школьные годы мы переменили три квартиры, все в деревянных домах. Жили очень замкнуто. Я не помню, чтобы у нас были гости; нет, помню, несколько раз. Отец был гостеприимным человеком, а мачеха была нелюдимою. У Гинцбургов все было наоборот. Всегда были люди. Каждый день приходил вечером на чашку чая доктор Крутовский, друг Якова Львовича. Обсуждали вместе дела Общества врачей, так как один был председателем, другой — его заместителем (по-моему, по очереди). Часто бывали всякие ссыльные разных партий, больше народники и эсеры. Дети всегда присутствовали при всяких политических и других разговорах, видели много разных людей. У каждого, Лени, Бобы и Ани, были свои компании, всегда толкалась дома молодежь. Все трое учились музыке, занимались спортом.

Леня был азартнейшим футболистом. Словом, росли и воспитывались дети наших семей совершенно в разной обстановке. В гимназиях тоже было по-разному. Я училась в частной гимназии Ольги Петровны Ициксон. Она была крещеная еврейка. Поэтому ей разрешили открыть частную прогимназию. Это значит гимназию до седьмого класса. Это была молодая энергичная женщина, которая имела свой дом из восьми комнат и флигель. Дом она отдала под прогимназию, а сама жила во флигеле со старушкой матерью. Обучение было платное, плата была несколько выше, чем в казенной гимназии. Ольга Петровна пригласила учителей. Собственно, это были не профессиональные учителя, а просто образованные люди, главным образом неблагонадежные, ссыльные. Оплату за обучение клали в общую кассу, вычитали за содержание помещения и делили как-то между собой. Доставалось им очень немного. Моя мачеха там преподавала в младших классах, поэтому я знаю, что заработок был ничтожен. Старались поставить педагогическую работу лучшим и передовым образом. Мы не имели формы, ходили в суровых халатах, которые стирались каждую неделю. Учениц было по семь-восемь человек в классе. Вся наука нам подносилась в разжеванном

виде. Я все схватывала с лету, поэтому дома мне надо было делать только письменные уроки. Работать я совершенно не научилась. Но слава о нашей гимназии шла как о передовом учебном заведении. Русский у нас преподавала Е.С. Шлихтер, коммунистка, жена будущего наркома земледелия Украины, историю — М.А. Еснова, коммунистка, которая преподавала историю не по Иловайскому, учебнику для гимназий, где история излагалась как история царей, а по Платонову²⁹, французский — коммунистка нелегальная. Словом, компания была симпатичная, но это не были педагоги. Желания у них у всех было много. Они много работали, а мы не работали, а только глотали, что нам давали.

Надзор, нелегальный конечно, за благонадежностью осуществляли священники. Они менялись. Мы в шестом классе, например, издевались над очередным: «Батюшка, я не верю, что на свете есть черт». — «Что вы, мисс Вера (он изображал из себя аристократа и звал нас «мисс»), значит, вы не верите в Бога, я вам принесу книгу, из которой видно, что злой дух существует». И принес-таки толстую черную книгу, где свидетельскими показаниями доказывалось существование черта. Эти разговоры из соседней комнаты услышала Ольга Петровна, вызвала меня и сказала: «Ты понимаешь, в каком положении находится наша прогимназия. Поэтому веди себя соответственно». Самодеятельность у нас как-то не ладилась. Создали кружок по естествознанию. Я делала доклад о Линнее. Кружок заглох. Стали издавать журнал. Я предложила назвать его «Без цвета, запаха и вкуса». Кажется, я же и редактором была. О чем писать? Хвалить скучно, ругать нельзя. Словом, после первого или второго номера журнал заглох, тем более что в журнале мужской гимназии, который редактировал Л. Гинцбург, появилась разносная статья по поводу нашего журнала. Слава богу, у них появилась безобидная тема — можно язвительно ругаться и не попадет. В театр меня редко пускали, когда мне было 12–13 лет, я видела братьев Адельгейм в «Гамлете» и слышала «Евгения Онегина». Моя дальновзоркость меня часто подводила. Я запомнила, как Адельгейм–Гамлет поправлял во время монолога вставные челюсти, а у Гремина на белых генеральских брюках была заплатка. В Красноярске, как во всех провинциальных городах, была Большая улица (официально она как-то по-другому называлась, кажется, Воскресенской), по которой по вечерам прохаживались граждане города. Там же были и гимназисты, реалисты³⁰, семинаристы, гимназистки. Гимназисты с реалистами еще дружили,

но семинаристов презирали. Ходил такой анекдот. Идет семинарист. Сзади гимназист с гимназисткой. Гимназист громко говорит: «Вон идет бог ослов!» Семинарист оборачивается и говорит: «Ага, скотина, узнал своего господина!» На эти гулянья меня не пускали. Только один раз вечером с родителями я была на «Большанке», в 1913 году в день 300-летия Дома Романовых. Вдоль всей улицы по краю тротуаров горели плошки то ли сальные, то ли какие-то другие. Запомнилось, но впечатления не произвело. Жизнь текла спокойно. Казалось все непоколебимо устойчивым. Мы с братом переходили из класса в класс. Летом жили в деревне Базаиха на другой стороне Енисея в крестьянском доме. Мошкара и комары не давали жить спокойно.

Но вот началась мировая война 1914 года. Красноярск изменился. Появились пленные — венгры, немцы. Не знаю, на каком положении они были. Жили ли они в лагере и ходили свободно по городу или жили в городе. Были это молодые офицеры. Ухаживали за гимназистками. Потом многие женились на них и увезли с собой. Много среди них было музыкантов. Леня Гинцбург и его друг, талантливейший музыкант и вообще очень способный человек, Лева Козлов, тоже пианист, как и Леня, давали совместно с этими пленными концерты. Приезжали военные в отпуск. Стояли войсковые части, в которых офицеры, всякие сынки богатых родителей, избегали фронта. Публика эта была из Петербурга и Москвы, тоже вносила какой-то свой дух. Словом, все общество красноярское взбудоражилось. Только у нас дома все было то же.

В Сибири никогда не было антисемитизма. Просто мы даже не слышали об этом ничего. Но понаехавшая публика привезла эту заразу. В 1916 году в Красноярске был еврейский погром³¹. Я была в седьмом классе. Приходит кто-то из учителей и говорит, чтобы все бежали домой, что еврейский погром и могут разгромить нашу гимназию. Когда я шла домой, улица была пуста, ставни в домах были закрыты. Была тишина. Когда я подходила к нашему дому, то вдали увидела около какого-то дома небольшую толпу женщин и подростков, которые довольно вяло суетились. Около них стояли жандармы или казаки на конях, пересмеивались с ними и не думали их разгонять. Дома у нас было полно народа: знакомые и незнакомые евреи и Ольга Петровна в том числе. На окнах были выставлены иконы — все, какие можно было собрать. Люди и ночь провели сидя в креслах, на диване, стульях. Отец надел свой чиновничий мундир (который надевал один раз в год

и который ненавидел и презирал) и поехал еще с какими-то людьми к генерал-губернатору, который принял их очень холодно, дал понять, что он сам знает, что надо делать, и не их это дело соваться в такие дела. Отец приехал возмущенный и расстроенный. У нас в это время прибегали домработницы и сообщали, что то там, то тут разграбили мелкие лавчонки евреев. Но ничего более серьезного не было, и этот «погром», видимо организованный «патриотическими силами», сам собой заглох. Бабы и мальчишки разошлись домой. Больше никогда, ни при Колчаке, никогда в Красноярске погрома не было. Тогда я узнала, что такое антисемитизм. Тогда это было преследование за иудейство — за веру, а не за национальность. Крещеный еврей имел все права. Это официально. А в быту было по-разному в разных частях России. В Сибири абсолютно не чувствовалось. Хотя в гимназию в казенную была еврейская норма. Леня Гинцбург попал в гимназию только потому, что приятель Якова Львовича у губернатора служил в канцелярии и устроил его сына сверх нормы.

В 1915 году нас с Юрием на лето отправили отдыхать в Ветлужский уезд Костромской губернии в имение Отрада, которое принадлежало мужу папиной сестры Елизаветы Яковлевны Николаю Васильевичу Гусеву. Там в то время жила сама Елизавета Яковлевна, ее сын Владимир, больной туберкулезом студент, Маруся и Вера — ее дочери. Вера была беременна, ее муж Владимир Сперанский, врач, ее двоюродный брат, был «на войне». Тогда так говорили, а не «на фронте». Вера ездила к нему на свидание летом, приехала, рассказывала, между прочим, как она купила там щуку на обед, и когда ее выпотрошили, там оказались два человеческих пальца. На меня этот рассказ произвел потрясающее впечатление. Так было воспринято конкретно отвлеченное понятие «война». Маруся занималась хозяйством: косила траву, заготавливала сено для коровы, занималась огородом. Меня сначала тоже привлекли к этому делу, но пришлось позвать врача, который запретил водить меня даже в баню, а тем более выполнять всякую физическую работу. По просьбе отца Маруся нас свозила в село Макарьевское, я уже написала об этом. Еще нас Маруся свозила на Черное озеро. Это место необычайной и таинственной красоты. Небольшое озеро, вокруг какие-то деревья склоняются. Вода как черное зеркало, по краям белые большие водяные лилии. Озеро было очень глубокое, вода очень прозрачная, видно было, как спускаются стены озера вглубь. Когда мы

шли к этому озеру, проходили через болото. Помню, как было страшно прыгать с кочки на кочку, которая тут же уходила под воду. Среди этого болота были «окна» — открытые места по четыре-пять метров. В них можно было видеть, как спокойно расхаживают щуки с черными спинами и злыми мордами. Все это так не похоже на Сибирь. Самая коренная Русь — Кострома. Оставила я в Макарьевском часть своей души или, наоборот, Макарьевское мне вошло в душу — не знаю.

Я пишу с большим промежутком времени. Перечитывать каждый раз написанное не хочется, и я, наверное, повторяюсь. 1916 год мне запомнился потому, что мы, то есть мачеха, Юрий и я, жили на озере Шира Минусинского уезда. Мачеха лечилась от нервов, а мы просто бездельничали. Курорт Шира тогда был совсем неблагоустроенный. Правда, там были небольшая грязелечебница и «Курзал» (это было длинное деревянное здание, где были по вечерам танцы, вечера самодеятельности, прекрасная библиотека, и был великолепный рояль, на котором каждый день утром упражнялся и играл Леня Гинцбург). Потом был Дом учителя. При нем было общежитие для учителей и столовая. Так как мачеха была учительницей, то мы кормились в этой столовой невероятно дешево. Помню, что каждый день были пироги, один вкуснее другого. Помню, там была молоденькая рыженькая учительница в ситцевом платье и молоденький учитель, который тоже отдыхал и одновременно заведовал библиотекой. Они влюбились друг в друга. Жениться они не могли, так как оба получали по 15 рублей в месяц. Если бы они объединились, завели бы корову, свинью и так далее, они могли бы жить на свои два жалованья, но в сельских начальных классах полагалось по одному учителю. Перевестись в среднюю школу они не могли, трудно было с вакансиями, да, видно, и образования не хватало. Он ходил ужасно печальный, а она все время плакала. Все им сочувствовали, но ничем помочь не могли. Лечебницей заведовал доктор Гинцбург, и все его семейство жило в хорошем доме при больнице. Сын Леня шестнадцати лет, всегда серьезный и задумчивый, много играл в курзале на рояле, и я иногда тихонько пробивалась туда и слушала. Я его побаивалась, и вообще мы были мало знакомы. За мной ухаживал студентик — сын золотопромышленника Ярилова. У него один глаз был желтый, а другой серый, оба яркие. Парень был очень образованный, симпатичный, но я без смеха не могла смотреть

на его глаза. Там были и подружки, словом, я встречалась со многими людьми, узнала много судеб и впервые ощутила прелесть общения с людьми. Вылезла из семейной скорлупы, хотя давление мачехи было все время над нами. Раз в лето, кажется, в Ильин день на Шира приезжал священник и совершал сразу за весь год все свадьбы, крестины. На Шира не было церкви. Поэтому все церковные службы были под открытым небом. В этот день со всей округи приезжали местные жители. Как тогда говорили, полудикий кочевой народ. Помню, как венчали одну пару уже немолодых людей. Оба были босиком в холщовых домотканых одеждах. С ними стояли дети десяти, восьми и шести лет приблизительно, и грудной на руках у матери. Помню, меня поразило их забитое, кроткое выражение лиц. Священник что-то читал, ходил около них и махал кадилом. В этот же день был базар. Приезжало не так уж много народа. Помню только, как компания молодых женщин в пестрых длинных с оборками платьях разноцветного ситца с длинными рукавами, в платках шли к озеру купаться. Как шли, не останавливаясь, в чем были вошли в воду. Это было купанье или крещенье, не помню. Теперь это, говорят, замечательный курорт. Природа-то не изменилась. Это Минусинские голые холмистые степи. Только на одном холме кривая маленькая сосенка как-то жила и сопротивлялась сильным ветрам. С одного наиболее высокого холма было видно семь озер: шесть пресных и одно соленое — Шира. Озеро Шира 15 × 5 км с очень соленой водой. Я не знаю, не видела, чтобы в него что-то втекало или вытекало. Видимо, оно живет за счет сточных весенних вод и родников. Купаться в нем удивительно приятно. Вода такая тяжелая, прямо выталкивает тело, кажется, что можно пойти пешком по озеру. Однако каждый год кто-то тонул. Там были частые грозы со страшными ветрами. Во время бури озеро становилось страшным. Волны с белыми гребнями перескакивают через купальню, и кто окажется на лодках в это время на середине озера, рискует утонуть. И каждый год тонули.